

Предисловие к изданию «Грегерии» 1960 года (фрагменты)

Пятьдесят лет назад, в 1910 году, я начал писать грегерии. Случилось это в тот день, когда я, изможденный и сомневающийся, стреб все ингредиенты, какие только были в моей лаборатории, бутылек за бутылком смешал их и вдруг увидел, как рождается грегерия: полностью растворяясь, очищаясь от всего лишнего, собираясь из остатка. С тех пор грегерия символизирует для меня миг расцвета всего, что существует на свете, что живет, что еще противостоит безверию. Грегерию притесняли, очерняли, а я то рыдал, то смеялся, потому что это огорчало и восхищало меня одновременно. Ее первое появление на страницах газеты привело к тому, что читатели стали массово отказываться от подписок. «Придумай этому другое название!» – просил меня редактор, но я решительно отказался.

Должно исчезнуть все тягуче-значительное и плотно-важное, включая и наиважнейшее, твердое как камень, как застарелое недовольство жизнью.

Встреча с грегериями оказалась для меня даром судьбы. Грегерии стали моим пропуском в мир: благодаря им я жил, вел беседы, путешествовал.

В действительности грегерии со мною с детства, и даже в кормилицу я кидался грегериями.

Это единственное, что я никогда не сочиняю. В моем понимании они являют собой отрочество жизни, которое сопровождает наше собственное отрочество или же старость. Они неспешны и неподдельны. Они – частица вечности, чей путь пролегает через мою черепную коробку.

Можно сочинить роман, но не грегерию.

Но почему же именно *грегерии*?

Имея представление об этом жанре, я осознал, что надо бы его окрестить, каким-то малоупотребительным словом, не слишком погружающим в размышления.

Тогда я засунул руку в лотерейный барабан слов и, доверившись случаю – крестному всех лучших открытий, – вытянул шар...

Это было слово *грегери́я*, пока еще только в единственном числе. Я словно посадил один этот шар и обрел целый сад с грегериями. Слово нравилось мне своим благозвучием и таинственностью, потому я решил остановиться на нем.

Грегерия, галиматъя, галдеж, неясное тарыхтение, сумбурный говор. Голоса живых существ, бессознательные, еле слышные. Голоса предметов, вещей, явлений.

Не может быть никаких сомнений: новый жанр я окрестил каким-то затерянным в словаре словом, ничего не значащим, но, будучи упомянутым в чьих-то записях или произнесенное через микрофон, оно неизбежно стало напоминать обо мне, ведь я изменил его смысл и превратил в то, чем оно раньше не являлось.

Воспоминания о поисках имени для нового жанра переносят меня в годы молодости, в состояние уединения и свободы, в тот далекий вечер июня.

Дело было в комнате на первом этаже дома номер одиннадцать по улице Пуэбла в Мадриде. Воздух был удушающе-тяжелым после одной из летних гроз. Голова моя распухла до предела. Я высунулся на балкон, но тут же вернулся обратно и сел.

Еще был жив дон Хасинто Октавио Пикон, бессменный секретарь Академии испанского языка, и я, признаюсь, порядком устал от дона Хасинто Октавио Пикона.

На моем столе лежали раскрытые ножницы. Как пеликаны с разинутыми в жаркий день клювами, они не пропускали ни одну идею. Я их закрыл.

Балкон продолжал меня манить: должно же остаться хоть немного воздуха где-то там, между небом и землей. Я предпринял очередную последнюю попытку выйти, ударился об угол дивана и был одарен грегерией.

Да... Я хотел сказать, подумалось мне... вспоминая реку Арно во Флоренции... напротив того пансиона, где я жил... что... тот берег реки... Да, тот берег реки хотел оказаться этим... Это желание, его не слышно, но оно реально... Когда берега меняются местами, что это? Это *грегерия* какая-то... И я полез в словарь посмотреть, есть ли такое слово и что оно означает.

Грегерия всегда будет незаменимой, и если что-то не является ею, то совершенно бессмысленно пытаться ею стать. А еще и остальные донесут на чужака и произнесут слово *грегерия*. В этом и заключается ее феномен и загадка.

Грегерии

Книга – это стокрылая птица.

Розы – это поэты, которые очень хотели стать розами.

Писа́ть – значит обречь себя плакать и смеяться в одиночку.

Хокку – это телеграмма в стихах.

Фортепианный стул – это концертный штопор.

С изобретением кино застывшие на фотографиях облака поплыли.

Литаврист – это оркестровый повар, который колдует над двумя паэлями.

Виолончелисты неустанно хлещут и стегают свои виолончели.

Подвешенная скрипка похожа на жареную курицу.

Чтобы сыграть на аккордеоне, надобно жать на его кнопки, а они совсем как пуговицы кальсон.

Пианист греет ноги о педали своего пианино.